

А.В.Юревич

Социально-психологические особенности российского научного мышления

Система научного познания предполагает определенные психологические предпосылки и поэтому исторически формируется лишь тогда, когда в обществе вызревает соответствующая психология. Как было показано выше, эта психология теснейшим образом связана с протестантской этикой, в результате чего наука выглядит как такое же закономерное проявление протестантизма, как предпринимательство или частная собственность, и предстает как чисто «западное» явление. Если продолжать развитие данной логики, то не избежать вывода о том, что непротестантские народы имеют иные предпосылки научного познания, нежели протестантские, или не имеют их вовсе, и соответственно если и обладают наукой, то имеющей существенные отличия от западной.

В отношении традиционной восточной науки этот вывод получил немало подтверждений: ее самобытность и непохожесть на западную науку общепризнанны, да и собственно наукой она была признана на Западе лишь в последнее время — главным образом благодаря ассимиляции им ее практических проявлений (восточной медицины, дзен-буддизма, медитации и др.) Российская же наука обычно рассматривается, в том числе и на Западе, как наука традиционного *западного типа*, имеющая свои социальные (репрессированность, идеологизация, обслуживание преимущественно оборонного комплекса, и т.п.), но не психологические особенности. И здесь заключено очевидное противоречие: если западная наука является выражением протестантской этики, то российская православная культура должна была бы породить какую-то другую науку. Кроме того, было бы удивительным, если бы весьма специфический российский

менталитет, мало похожий как на западный, так и на восточный, столь же специфические условия российской жизни, воспроизводящиеся вне зависимости от социального строя, а также другие уникальные особенности нашей страны не породили своеобразных психологических предпосылок научного познания.

Невроз по-русски

Об особенностях российского менталитета (национальной психологии, русской «души», национального характера и т.д.¹) в последнее время написано немало, что естественно: мы хотим понять, чем отличаемся от других, почему у нас все идет как-то не так, почему «хотим как лучше, а получается как всегда». И, хотя сам факт существования такого явления, как национальный характер, все еще вызывает возражения, поскольку любой народ богат представителями самых разнообразных психологических типов, все же, во-первых, некоторые типы в одних культурах встречаются чаще, чем в других, во-вторых, у представителей любого народа одни психологические качества доминируют над другими. И в этом — статистическом — смысле слова можно говорить о существовании национального характера, что, впрочем, не делает данное понятие эфемерным.

Наиболее развернутые характеристики российского национального характера даны российскими же философами, что придает им особый гносеологический статус, делая их продуктом, во-первых, *самовосприятия* наших соотечественников, во-вторых, восприятия нашего народа представителями лишь одного социального слоя — российской *интеллигенции*. Это, конечно, может исказить реальную картину и приводить к расхождению оценок российского менталитета, например, его носителями и представителями других культур. Так, скажем, исследование, проведенное в Венесуэле, продемонстрировало, что жители этой страны видят русских амбициозными, материалистичными, трудолюбивыми, хитрыми, религиозными и не внушающими доверия, а народом, наиболее близким русским по психологическому складу, сочли ...китайцев². И все же резонно допустить, что мы знаем себя лучше, чем нас знают, скажем, в Венесуэле, и нашему самовосприятию, даже если это восприятие всей России одним социальным слоем — интеллигенцией, — можно доверять.

Специфику российского национального характера обычно объясняют тремя группами факторов: 1) географическим положением России; 2) ее историей, в первую очередь историей взаимоотношений с соседними народами; 3) внешними влияниями на наш генофонд (на

пример, тем, что татаро-монголы его «испортили»)³. Эти факторы тесно взаимосвязаны. Например, часто отмечается, что географическое обстоятельство — отсутствие естественных границ в виде гор или морей — сделало Русь открытой опустошительным внешним нашествиям и во многом предопределило ее трагическую судьбу, то есть имело политические и исторические проявления. Подобные связи позволяют связать три группы детерминант российского национального характера единой — геополитической — логикой, хотя и в ее рамках они сохраняют отличия друг от друга. Эта геополитическая логика всегда наполняется психологическим содержанием, поскольку в рассуждениях интерпретаторов российского национального характера психологические факторы либо используются как связующее звено между географическими, историческими и генетическими детерминантами, либо — фигурируют в качестве их результирующей. П.Н.Савицкий, например, видел специфику российского национального характера в «монгольском ощущении (психологическая категория — А.Ю.) континента, противоположном европейскому ощущению моря» и особой «степной» психологии, характеризующейся преимущественно экстенсивным образом жизни, ощущением отсутствия естественных границ, постоянной потребностью в перемещении и производных от них недостатке трудолюбия, мечтательности, «стремлении вдаль» и др.

Конкретный механизм такого «геопсихологического» детерминизма не вполне прояснен. Но можно допустить, что географические и исторические особенности России *интериорируются* и таким образом формируют наш внутренний мир. В результате интериоризация, но не в принятом в психологической науке смысле — как интериоризация социальных отношений, а *интериоризация нашей истории и окружающего нас природного мира* выступает в качестве одного из основных механизмов формирования национального характера. И поэтому, как писал Н.А.Бердяев, «спиритуальная география соответствует физической географии»⁴. А по мнению американских исследователей, «трудно найти другую нацию, которая в своем развитии испытала бы такое огромное влияние географических и геополитических факторов, как русские»⁵.

Это влияние, естественно, охватывает не только интериоризацию окружающего природного мира как такового, но и воспроизводство в национальном характере многовекового опыта взаимодействия с ним, что служит подтверждением столь популярной в отечественной психологической науке схемы деятельностной детерминации сознания. В частности, одна из основных детерми-

нант российского национального характера часто видится в сезонном характере сельскохозяйственного труда в России, приучившем наших предков работать интенсивно, но непостоянно, в хорошо нам знакомом «авральном» ритме.

Вычленение конкретных особенностей российского национального характера затрудняется тем, что он крайне противоречив. «Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь», — писал С.Н.Булгаков⁶. Внутреннюю антиномичность считал главным свойством русской души и Н.А.Бердяев. Она постоянно констатируется и в трудах других мыслителей. Например, «бессилие при силе, бедность при огромных богатствах, безмыслие при уме природном, тупость при смысленности природной»⁷, «легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоволения»⁸, «контраст духовной жизни и внешних форм общежития», «быта и мысли»⁹, «постоянное несогласие между законами и жизнью, между учреждениями писаными и живыми нравами народными»¹⁰. Противоречивость российского менталитета отчетливо проступает и в его современных психологических исследованиях, проявляясь как в бытовых, так и в социально-политических установках — таких, например, как «с Богом и царем к победе социализма и демократии»¹¹.

Подобная антиномичность, с одной стороны, затрудняет вычленение основных свойств российского менталитета, с другой — способствует этому, ибо сама выступает в качестве его ключевой особенности. Тем не менее она предопределяет необходимость предельной осторожности в описании других его качеств, ибо каждое из них в определенных исторических условиях оборачивается своей противоположностью — всетерпимость регулярно сменяется революционностью, сонное спокойствие — чрезмерной возбудимостью, массовый трудовой энтузиазм — столь же массовым бездельем и т.д. Подобным перепадам способствует известная психологическая закономерность: любое психологическое качество, в случае своей чрезмерной эксплуатации (личностью, группой или государством), имеет тенденцию перерастать в свою противоположность. Поэтому определенная антиномичность свойственна любому национальному характеру, но давно подмечено, что трудно найти другой народ, который так же легко переходил бы из крайности в крайность, как русские, живущие по «закону маятника».

На психологическом языке постоянная внутренняя рассогласованность, легкость перехода из крайности в крайность в сочетании с крайне эмоциональным отношением к каждой из них характеризует

ся как *невроз*. И в последние годы, когда особенности российского менталитета все чаще стали описываться именно на этом, а не на философском, языке, регулярно отмечается, что в основе нашего менталитета лежит глубокий невротический конфликт, обладающий всеми основными атрибутами массового невроза¹². Впрочем, эти атрибуты улавливались и раньше. Г.Г.Шпет, например, писал, что русскому народу свойственна «специфическая национальная психология», проявлениями которой являются невротические симптомы: «самоединство, ответственность перед призраком будущих поколений, иллюзионизм, неумение и нелюбовь жить в настоящем, суетливое беспокойство о вечном, и др.»¹³. Явно невротичными выглядят и такие качества как «максимализм, экстремизм и фанатическая нетерпимость»¹⁴, историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, постоянное желание вызвать чудо¹⁵, нигилизм, инфантильность, радикализм, недостаточное чувство действительности, разлад между словом и делом¹⁶, недисциплинированность, неспособность идти на компромиссы¹⁷, мечтательность, легкомысленность, недалёковидность¹⁸.

Правда, отечественные мыслители прежних времен, в отличие от современных психотерапевтов, не воспринимали подобные качества как патологические, а иногда даже гордились ими. «Мы хотели бы сохранить и передать будущему эти наши национальные черты мятежности и тревоги, эту упорную работу над проклятыми вопросами, это неустанное искание Бога и невозможность примириться с какой-либо системой успокоения, с каким бы то ни было мешанским довольством», — писал Н.А.Бердяев¹⁹. Другие российские философы и литераторы тоже стремились разглядеть в невротических свойствах нашего менталитета признаки почетной исключительности, представив их не в психопатологическом, а в патристическом ракурсе, в чем нетрудно различить признаки психологической защиты.

С недавнего времени особенности российского национального характера стали предметом эмпирического изучения — с помощью различных тестовых методов. Тестирование психологических качеств наших соотечественников дало, в общем, те же результаты, что и их философское осмысление — продемонстрировало, что нам явно свойственна повышенная невротичность, и именно она является стержневым качеством российского менталитета, объединяя и результируя другие его свойства. Такие проявления этой невротичности, как депрессивность, беспокойство, дезадаптированность, истеричность, нам свойственны в большей степени, чем, например, американцам²⁰, хотя, разумеется, не все россияне им подвержены.

Бунт против картезианства

Само собой разумеется, невротичность российского национально-го характера имеет важные и характерные **социальные** проявления, выражаясь не только в повышенной склонности к революциям (которые в психологии рассматриваются не как форма взаимодействия между «верхами», которые «не могут», и «низами», которые «не хотят», а как проявление массового невроза) и другим близким формам поведения, но и в различных сферах отечественной интеллектуальной культуры, и, в частности, в науке. Особенности российского менталитета, естественно, наиболее заметно проявляют себя в гуманитарных дисциплинах, которые больше подвержены влиянию социальных и психологических факторов, нежели естественные науки. Но их выражение можно обнаружить и в установках отечественных естествоиспытателей, а также в соотношении естественнонаучной и гуманитарной ориентаций в истории российской науки.

Давно подмечено, что российской науке свойственен **«невроз своеобразия»**²¹, проявляющийся в отвержении оснований западной науки и настойчивых поисках «собственного пути». Программы и призывы такого рода широко представлены в российской интеллектуальной традиции. К.С.Аксаков, например, сетовал: «Мы уже полтора года стоим на почве исключительной национальности европейской, в жертву которой приносится наша народность; оттого именно мы еще ничем и не обогатили науки»²². Ему вторил А.И.Герцен: «Нам навязали чужеземную традицию, нам **швырнули науку**»²³. Н.И.Кареев писал: «Для нас это (западная наука — А.Ю.) — чужое платье, которое мы продолжаем носить по недоразумению»²⁴, и призывал к «обрусению» науки, состоящему в «самостоятельной переработке усвоенного с присоединением к нему того, что выработала сама русская жизнь»²⁵. Еще категоричнее был И. А. Ильин, усматривавший в западной науке «чуждый нам дух иудаизма, пропитывающий католическую культуру, и далее — дух римского права, дух умственного и волевого формализма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный для католиков»²⁶. Отметим, что это весьма необычное восприятие западной науки, традиционно связываемой не с католической, а с протестантской культурой. По мнению Ильина, чтобы усвоить западную науку, «нам пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерцания, совести и свободы или, во всяком случае, отказаться от их преобладания»²⁷. И поэтому «русская **наука** не призвана подражать западной учености ни в области исследования, ни в области мировосприятия. Она призвана вырабатывать свое **мировосприятие, свое исследование**»²⁸.

Одним из наиболее ярких выражений свойственного российской науке «невроза своеобразия» был ее «германский комплекс», который проявлял себя, во-первых, «в бесконечной славянофильской рефлексии о методе своей философии — в бесконечном обсуждении вопроса о необходимости перехода русского любомудрия от чужого способа мышления («немецкого рационального», «формального и логического») к своему, «православно-русскому», во-вторых, «в превращении «немецкого типа философствования» и вообще немецкой философии в символ западноевропейского «духа жизни» (Хомяков) и в построении обширной системы символических противопоставлений этому «духу» — «православно-русского духа («живого», «целого» и т. п.)»²⁹.

В «германском комплексе» российской науки нельзя видеть что-то сугубо антигерманское, обусловленное плохим отношением именно к этому народу и его культуре. Он состоял в отторжении западной науки вообще, а не ее собственно германской составляющей. Тем не менее данная форма «невроза своеобразия» была вполне закономерной, ибо именно Германия была для России основным фокусом западной культуры, поскольку «римский рационализм был усвоен германцами-завоевателями и распространился по всей Европе»³⁰, а германская философия «предельно выразила сущность европейского типа мышления и европейских понятий о человеке и обществе»³¹.

Справедливости ради надо отметить, что в российской науке стремление к самобытности, даже достая до «невроза своеобразия», редко принимало характер ксенофобии и обычно компенсировалось способностью успешно ассимилировать чужие точки зрения. Н. И. Кареев, например, не случайно считал соединение взятого из западной культуры с выведенным из нашего собственного исторического опыта одной из главных особенностей и «источником силы» российской науки³². Мы всегда умели не только отвергать, но и усваивать чужое, в том числе и некритически, а также обогащать его своим, в результате чего некоторые продукты западной культуры были для нас более родными, чем для их создателей (вспомним хотя бы марксизм). Синтез своего и усвоенного на Западе не только открывал путь к построению своеобразных, подчас кентавро-образных систем знания, но и выполнял важные психологические функции: в частности, содействовал внутреннему примирению российской интеллигенции, одним из основных противоречий которой было соединение западного образования, да и вообще мировосприятия, и российского образа жизни³³.

Тем не менее, если ассимиляция знания, выработанного на Западе, не было проблемой для российской культуры, то усвоение европейского *стиля мышления* встречало значительные препятствия. Не

трудно заметить, что описанные выше протесты Аксакова, Кареева, Ильина против западной науки относятся не к полученному ею знанию, а к характерному для нее стилю мышления. Западный стиль мышления с такими его ключевыми признаками, как атомизм, рационализм, прагматизм и т.д., вызывал идиосинкразию, прежде всего, потому, что был выражением *протестантизма*, в то время как российский образ мышления, равно как и российская наука в целом, испытал значительное влияние *православия*. Впрочем, православие, равно как и протестантизм, нельзя считать самостоятельными детерминантами развития науки. Подобно тому, как основы западной науки сложились под влиянием протестантской *этики*, которая, хотя и находилась в тесной связи с соответствующей религиозной доктриной, но, в то же время, обладала достаточной автономией от нее и выражала не столько религиозные догматы, сколько базовые ценности того времени, особенности российской науки были заданы не самой православной доктриной, а свойствами российской культуры и психологии, не предопределенными, а выраженными православием.

Одна из главных особенностей православия обычно видится в абсолютном приоритете духа над материей, центрированности не на практических интересах, а на нравственном сознании. Поэтому неудивительно, что под влиянием православия главной проблемой российской науки стала «проблема человека, его судьбы и карьеры, смысла и цели истории»³⁴, а не практические проблемы, служившие центром притяжения в Западной науке. Регулярно отмечаются российская склонность к неопредмеченному мышлению³⁵, непрактицизм российского мышления, подчинение интеллектуальной логики «логике» эмоций, стимулирование основной части мыслительных актов не практическими, а эмоциональными проблемами³⁶. Подобные характеристики иногда гипертрофированы, сами несвободны от наших «славянских крайностей», но в общем и целом небезосновательны. В результате, несмотря на отдельные весьма громкие успехи российских естествоиспытателей, вплоть до XX века отечественная гуманитарная традиция была куда богаче естественнонаучной. И в этом отношении, также как и в остальных, Россия находилась между Востоком и Западом — в данном случае «между» западной наукой, характеризующейся доминированием естественных наук, главенством «парадигмы физикализма» и т.д., и традиционной восточной наукой с такими ее особенностями, как первенство наук о человеке, приоритет духа над материей, причем во многих своих характеристиках российская наука была даже более близкой к восточной, чем к западной.

Характерный для православия, так же как и для Востока, приоритет духа над материей предопределил не только общую тематическую направленность российской науки, но и особенности ее *метода*. Православному религиозному сознанию «свойственно больше сосредоточиваться на небесном, абсолютном и вечном, на последних судьбах мира. *Созерцание* (курсив мой — А.Ю.) — его высшее познание»³⁷.

Культ этого созерцания, противопоставленного экспериментальному методу западной науки, весьма характерен для отечественной интеллектуальной традиции. И.А.Ильин, например, утверждал: «Русский ученый призван вносить в свое исследование начало *сердца, созерцательности, творческой свободы и живой ответственной совести*»³⁸. По его мнению, это «не значит, что для русского человека «необязательна» единая общечеловеческая логика или что у его науки может быть другая цель, кроме предметной истины»³⁹. Но «рассудочная наука, не ведающая ничего, кроме чувственного наблюдения, эксперимента и анализа, есть наука *духовно слепая*»⁴⁰, «русский ученый призван насыщать свое наблюдение и свою мысль *живым созерцанием*»⁴¹. А «созерцанию» — и здесь Ильин отдает должное «геопсихологической» детерминации — «нас учило прежде всего наше равнинное пространство, наша природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (Пушкин), за которой скрывается сила творческого воображения»⁴².

Здесь уместно вспомнить дифференциацию двух типов культур, предложенную Ю.М.Лотманом, который различал культуры, ориентированные на предметно-активистский способ жизнедеятельности и культуры, ориентированные на автокоммуникацию, интроспекцию и созерцание⁴³. Хотя первый тип культур справедливо ассоциируется с Западом, а второй — с Востоком, некоторые западные культуры, например античная, явно тяготели ко второму типу, а российская расположилась между Западом и Востоком, явно впитав в себя некоторые элементы восточной «созерцательности».

Конечно, универсализация методологии научного познания и впечатляющие успехи экспериментальной науки нанесли чувствительный удар по традиции созерцать. Вследствие другой нашей национальной традиции — переходить из крайности в крайность — российская гуманитарная наука сейчас куда более скована позитивистской парадигмой и благоговеет перед эмпиризмом, чем западная. Свидетельства тому — культ эмпирических исследований в психологии, превращение результатов социологических опросов в высший критерий истины, и т.д. Тем не менее «созерцательность» свойствен-

на российском менталитете и поныне. В частности, «по данным ряда исследований для русского национального самосознания вообще характерно «вчувствование», а не «вдумывание» в окружающую реальность, а это как раз и приводит к поспешным импульсивным реакциям и выводам, к метанию от одной крайности к другой»⁴⁴. Исследование же особенностей российской национальной психологии с помощью теста Люшера (диагностирующего личность на основе ее цветовых предпочтений) показало, что среди всех цветов спектра наши соотечественники явно предпочитают голубой, что интерпретируется как индикатор склонности к эстетической созерцательности (а также к сопереживанию, сензитивности, доверию, самопожертвованию, преданности и др.). Впрочем, цветовые предпочтения во многом зависимы от индивидуальных особенностей человека: малообразованные люди, например, предпочитают не голубой, а красный и коричневый⁴⁵, что не может не вызвать соответствующие политические ассоциации.

Склонность к созерцательности, неприятие рационализма и эмпиризма имели в российской интеллектуальной традиции морально-этические корни, выраставшие из православия. В частности, «рационализм был ассоциирован с эгоизмом, с безразличием к общественной жизни и невключенностью в нее»⁴⁶. И поэтому «бунт против Картезианства»⁴⁷ — основы и символа западного научного мышления — состоялся именно в России, породив противопоставленный картезианству «мистический прагматизм» — «взгляд на вещи, основными атрибутами которого служат неразделение мысли и действия, когнитивного и эмоционального, священного и земного»⁴⁸. Надо отметить, что авторы этого высказывания — американские философы У.Гэвин и Т.Блекли — упомянутые качества, а так же такие, как мессианское отношение к истории, ответственность за судьбы других народов, свободу от практицизма, приписывают и американцам, стремясь продемонстрировать большое сходство российской и американской культур и противопоставить их другим культурам.

Основные проявления западного научного мышления вызывали у российских интеллектуалов сильное раздражение. Аксакова не устраивало то, что в его рамках «все формулируется», «сознание формальное и логическое» не удовлетворяло Хомякова, «торжество рационализма над преданием», «самовластвующий рассудок», «логический разум», «формальное развитие разума и внешних познаний» гневно порицались Киреевским⁴⁹. Этим атрибутам западного мышления противопоставлялись вышеупомянутое «живое мирозозерца-

ние», интуиция, «внутреннее ясновидение», эмоциональная вовлеченность в познавательный процесс, противоположная мертоновской норме незаинтересованности⁵⁰.

В основе подобных методологических ориентаций российской науки лежала идея о том, что ее главная цель — не объяснение физического мира и решение практических проблем, а понимание человека и, в первую очередь, постижение России, что невозможно сделать рациональным, картезианским путем. «Старую Русь надобно угадать», — писал Хомяков. «Все, что мы утверждаем о нашей истории, о нашем народе, об особенностях нашего прошедшего развития, все это угадано, но не выведено», — вторил ему Самарин. А Киреевский подчеркивал, что «национальный «дух жизни» нельзя постичь «отвлеченно-логическим мышлением», а можно — лишь «внутренней силой ума»⁵¹.

Естественно, и экспериментальная наука тоже не без успеха развивалась в России: достаточно вспомнить Ломоносова, Менделеева, Сеченова, Павлова и других ее ярких представителей. И неудивительно, что именно эти персонифицированные символы российской науки приобрели наибольшую известность на Западе, где породили ее ошибочный образ как науки экспериментальной и мало отличающейся от западной. Последняя восприняла то, что для нее было наиболее значимым — эмпирические достижения российских ученых, оставив без должного внимания плоды их «созерцания». Однако в реальной, а не в воспринятой Западом истории российской науки приоритет созерцательности и проблем, которые могут быть осмыслены только этим способом, обозначен достаточно четко. И неудивительно, что такие герои как, например, тургеневский Базаров, пропитанные духом эмпиризма, рационализма и презрения к российской гуманитарной традиции, встречали в российском обществе весьма негативное отношение.

Преимущественно неэмпирический характер российской науки приистекал не только из общих приоритетов православия, но и из предопределенных им более частных установок. Как было показано выше, одним из оснований западной науки Нового времени явилось протестантское уважение к ручному труду, пришедшее на смену пренебрежительному отношению к нему в античном и средневековом обществах. Именно новое отношение к ручному труду и к технике как его средству сделало возможным широкое распространение эксперимента, ставшего опорой и символом западной науки. В православной же этике отношение к труду выглядит неоднозначным и уж во всяком случае весьма отличавшимся от протестантского. Труд ува-

жаем ею, но, во-первых, только *бескорыстный* труд, не подчиненный прагматическим целям, во-вторых, в ее иерархии ценностей он стоит ниже аскезы, молитвы, спасения, созерцания и поста⁵². Подобное отношение православия к труду достаточно изоморфно воспроизводилось в отношении к эксперименту в российской науке. В принципе он поощрялся и культивировался ею, и она регулярно дарила миру блестящих экспериментаторов. Но в то же время экспериментирование не рассматривалось как обязательное и основное средство научного познания, играло в российской науке весьма скромную роль, оттесняемое на второй план созерцанием, вчувствованием и другими подобными способами решения смысложизненных проблем.

Специфика российского научного мышления проявлялась также в *терпимости к неопределенности и противоречиям*, абсолютно неприемлемым для картезианского мышления. Одна из главных особенностей российского менталитета видится в «русской традиции жить с неопределенностью и двойственностью»⁵³, склонности к диалектическому (не только в марксистском смысле слова) мышлению, которые обычно трактуются в рамках все той же «геопсихологической» логики — как ментальное проявление «бескрайности российских ландшафтов», хотя вполне возможно представить ее и несколько иначе — как частный случай российской терпимости вообще. Наша терпимость к неопределенности обнаруживает себя, в частности, в том, что «эпистемологические проблемы, инициированные на Западе картезианским призывом к определенности, практически отсутствует в российском историческом опыте»⁵⁴. И в этой связи интересны наблюдения А. Маслоу о том, что «ученые, нуждающиеся в ясности и простоте, обычно избегают изучения гуманистических и личностных проблем человеческой природы»⁵⁵.

Описанная особенность российского мышления весьма любопытным образом проявляется в языковой практике. Немецкими лингвистами, например, подмечено, что для русских, говорящих на немецком языке, характерно слишком частое употребление безличных местоимений, интерпретируемое как желание уклониться от высказывания собственного мнения, «спрятаться за неопределенность»⁵⁶.

Естественными следствиями «созерцательности» российского мышления была его оторванность от решения практических проблем, а также особое состояние русской души, выражавшееся в ее «широте», вечном стремлении (вспомним один из шукшинских фильмов) «в даль светлую», мечтательности и т.п. Подобное состояние обычно обозначается такими терминами, как «вселенское чувство» или «русский космизм». Плохо поддаваясь научным определениям, оно куда

точнее выражено художественными образами — например, в описании Л. Толстым ощущения Пьера Безухова: «и все это — я, и все это — во мне». Чувство «все во мне», мечтательность, стремление во всевозможные дали, естественно, отвлекали от решения земных проблем и были плохо совместимы с исследовательскими действиями, например с проведением экспериментов, основой которых является стремление субъекта изучать внеположное ему. И симптоматично, что не только дефицит намерений эмпирически изучать внеположный субъекту мир, но и дефицит самого этого *внеположного* мира — *неразделенность субъекта и объекта* — трактуется как одно из свойств российского мышления, причем преподносимая его интерпретаторами в позитивном свете. В результате всего этого эмпирический рационализм, послуживший основой западной науки, будучи чуждым православию в обоих своих составляющих — и как рационализм, и как эмпиризм, — был весьма нехарактерным для российской науки.

Коллективистский мессианизм

Православное пренебрежение к практицизму проявилось не только в *когнитивных* особенностях российской науки — в свойственных ей методах познания и стиле мышления, но и в ее *социальных* характеристиках, которые органически дополняли этот стиль. Она всегда, в основном, ставила перед собой просветительские, мировоззренческие, познавательные, а не коммерческие цели, что нашло выражение и в ее общих ориентирах, и в нормативных способах поведения ученых. В результате, например, ей были малознакомы громкие споры о приоритете, которыми история западной науки была полна со времен скандала между Ньютоном и Лейбницем. А такие потенциально прибыльные открытия, как, скажем, совершенные Ползуновым или Поповым, никто не стремился коммерциализировать или, по крайней мере, должным образом оформить их приоритет (именно поэтому, в частности, изобретателем радио признан не Попов, а Маркони).

Отсутствие у российских мыслителей стремления *заработать* своим научным трудом замедлило формирование в России *профессии* ученого. В отличие от представителей западной науки, характеризующихся А. Зиманом как «купцы истины», для российских интеллектуалов был характерен не «купеческий», а «толстовский» образ жизни. Они занимались наукой не ради того, чтобы прокормиться, а для того, чтобы самореализоваться и удовлетворять свое любопытство (но не за государственный счет), кормились же за счет своих имений и других подобных источников доходов. И симптоматично, что такие пред-

ставители российской науки, как, скажем, К.Э. Циолковский, не были *профессиональными* учеными, зарабатывая себе на жизнь и на занятие наукой чем-то другим.

На первый взгляд, эти традиции повернулись вспять в советское время, когда власть поставила перед учеными конкретные — оборонные, идеологические и т.п. — задачи, придавала прагматическую направленность их работе и стала за нее платить. Однако прагматическая переориентация коснулась науки *в целом*, сами же ученые по-прежнему больше напоминали вольных художников, чем «купцов истины» — хотя бы потому, что ничего не могли продать. Да и вообще советские условия, сами явившиеся выражением российского менталитета, не нивелировали его проявления в отечественной науке и ее соответствующие особенности, а лишь привели к тому, что эти особенности стали проявляться несколько иначе, нежели прежде. Поэтому ее специфику можно с равным успехом проследить как в досоветское, так и в советское время.

Так, например, одной из психологических предпосылок западной науки послужил индивидуализм, сформировавшийся под влиянием протестантизма и во многом ответственный за утверждение характерного для нее атомистического стиля мышления. В российской же культуре — и тоже под влиянием православия — место индивидуализма традиционно занимал *коллективизм*, существовавший в форме не стремления помогать ближнему (оно более характерно для *рационального* индивидуализма: помогу я, значит, помогут и мне), а *патриотического культа служения обществу*, который проявился и в науке. В российской научной среде этот культ выражался в остром реагировании на нужды общества, в непосредственном проецировании его общих потребностей на уровень индивидуальной мотивации ученых. М.Г.Ярошевский показывал, что такие представители российской науки, как И.М.Сеченов и И.П.Павлов, свою научную деятельность подчиняли решению не личных или узкопрофессиональных, а *общесоциальных* проблем, в результате чего основные запросы и особенности российского общества нашли яркое выражение в том пути, которым шла российская наука. Это отразилось не только в известных особенностях нашей гуманитарной науки, но и в специфике вклада, который внесли в мировую науку российские естествоиспытатели. «Если Германия дала миру учение о физико-химических основах жизни, Англия — о законах эволюции, Франция — о гомеостазе, то Россия — о поведении»⁵⁷, поскольку «категория поведения сформировалась в духовной атмосфере этой страны и придавала самобытность пути, на котором русской мыслью были прочерчены идеи, обогатившие мировую науку»⁵⁸.

Культ коллективизма и служения обществу достиг своего апогея именно в советское время. И слово «служащий», которым советские интеллигенты определяли свое социальное происхождение во всевозможных анкетах, по всей видимости, не было случайным порождением бюрократического лексикона. В его звучании можно не только найти аналогии с выражениями вроде «служилый люд», но и уловить отголоски культа служения обществу, характерного для российской интеллигенции и доведенного до крайности советской идеологией.

Стремление служить обществу традиционно усиливалось *мессианским самосознанием*, характерным для России вообще и для российской интеллигенции в особенности. Надо отметить, что мессианские настроения очень характерны для ученых, и не только российских. Л. Куби, например, обобщая свой опыт психотерапевтической работы с представителями американской науки, пришел к выводу о том, что «ученым, особенно молодым, часто свойственна уверенность в том, что их теории перевернут мир. За этой скрытой мегаломанией стоят не только амбиции молодого исследователя, но и его мечты о всесии, зародившиеся в раннем детстве»⁵⁹. Подобный — *индивидуалистический* — мессианизм (*Я переверну мир*) в российской науке, в силу доминировавших в ней настроений, приобретал коллективистские формы, превращаясь соответственно в *мессианизм коллективистский*. Ярким выражением подобного синтеза коллективизма и мессианизма служили, например, представления о предназначении науки, высшая цель которой виделась не в решении бытовых проблем, а в «великом преобразовании природы и общества».

Коллективизм и культ служения обществу привели к тому, что одна из главных психологических предпосылок научного труда на Западе — мотивация достижения — приобрела в российской науке существенную специфику. Если там она выступала как мотивация *индивидуального* достижения, как потребность добиться *личного* успеха, то в нашей науке — в основном, как *мотивация коллективного достижения*, потребность сделать что-то важное, но не для себя лично, а для страны, внести весомый вклад в «общее дело».

Лишенная опоры в прагматизме и индивидуализме, составивших психологическую опору западной науки, российская наука компенсировала это за счет не только коллективизма, но и *интеллектуализма* как одной из основных характеристик отечественной культуры. Интеллектуализм проявлялся в том, что интеллектуальный труд был у нас до недавнего времени престижен сам по себе, вне зависимости от величины вознаграждения и значимости создаваемого продукта, в представлении о самооценности научного мышления, в на-

стоящем культе эстетики, «красоты» мысли, в чрезвычайной популярности людей, таких, как М.К.Мамардашвили, для которых мышление было их образом жизни.

Интеллектуализм, вообще характерный для российского общества или, по крайней мере, для образованной части, был особенно выражен в российской науке — в силу того, что главный носитель интеллектуализма — интеллигенция была предельно сконцентрированной в науке, а не равномерно распределенной по различным сферам интеллектуальной деятельности, как в других странах. В дореволюционной России «почвой для оседания кочевой российской интеллигенции ... была наука»⁶⁰, представляя ей, всегда находившейся между «молотом власти и наковальной народа»⁶¹, своеобразное «убежище». В советские годы наука также предоставляла интеллигенции «убежище и защиту от буйства и насилия российской социальной жизни»⁶². И поскольку это «буйство» продолжается и поныне, то отечественная интеллигенция по-прежнему вынуждена использовать науку как «убежище» — по крайней мере психологическое, где можно укрыться непреходящими ценностями.

Российская нирвана

Естественно, описывая непрагматичность российской науки, все же трудно избежать прагматического вопроса — о том, как, позитивно или негативно, специфика российского национального характера отразилась на российской науке, а психологические особенности последней — на ее результативности.

Влияние особенностей российского менталитета на отечественную науку столь же противоречиво, сколь и сам этот менталитет. Противоречивы и оценки данного влияния. Согласно одной крайней позиции нет ничего более способствующего научному познанию, чем российский национальный характер. Например, потому, что «наше историческое воспитание не позволяет нам коснеть на какой-нибудь односторонней точке зрения: оно сделало нас особенно способными к усвоению чужих идей, приучило черпать идейный материал отовсюду, заставляет нас совершать синтез разнообразных точек зрения, а вместе с тем приводит к исканию более широкого понимания общественной роли науки, которое устраняло бы занятие наукой только из-за мимолетной *злости дня* или *ученого любопытства*, ставя ему целями *жизнь* и *знание*»⁶³. Согласно прямо противоположной позиции наука, аккумулировавшая в себе ценности западного общества, противоречит особенностям российского менталитета и всегда была

у нас «странным ребенком». Данная позиция аргументируется таким образом: «Достаточно подчеркнуть такие черты, вытекающие из ментальности древнерусской крестьянской общины и усиленные (как это ни парадоксально) коммунистической пропагандой: нетерпимость, враждебность к тем, кто выделился благодаря своим успехам, недоверие к людям, вовлеченным в интеллектуальный труд. Комбинация этих черт создает психологическую основу негативных установок по отношению к ученым и их работе»⁶⁴. Наверное, обе эти позиции верны, но обе верны лишь отчасти — как и любые попытки «выпрямить» нелинейное, свести комплекс сложных явлений к простому и однозначному знаменателю. Но трудно не согласиться с тем, что «социальный институт науки просто не сформируется и не сможет существовать в таком обществе, фундаментальные ценности которого несовместимы со специфическими ценностями науки»⁶⁵. В нашем же обществе этот институт не только сформировался, но еще недавно поражал весь мир своими габаритами и достижениями.

Такие особенности российского менталитета, как, например, мечтательность и оторванность от реальности, имели в науке весьма нелепые проявления, выражаясь, скажем, в склонности к различным утопическим проектам (вспомним лысенковские программы, идею построить коммунизм, проекты переброски сибирских рек и т.п.). Но эта же мечтательность нашла выражение в «романтическом сциентизме» — вере советских людей в то, что наше будущее ждет нас не на Земле — в скучных конфликтах между политиками, а в космосе — в увлекательных контактах с другими цивилизациями, и вообще науке по силам решить все основные проблемы человечества. «Романтический сциентизм» способствовал щедрым расходам на науку, высокому статусу научного труда и его превращению в одну из самых престижных профессий. А выделение СССР на космические исследования больших (в сопоставимых ценах) сумм, нежели современной Россией расходуется на всю науку, объяснялось не только амбициозным желанием быть «впереди планеты всей», нуждами ВПК и «милитаристским сциентизмом» (хотя и ими тоже), но и массовым интересом к неизведанному, устремленностью в Космос, весьма родственным неумному «стремлению вдаль», характерному для наших предков. Оторванность от реальности была во многом ответственна за отсутствие иммунитета к таким учениям, как марксизм, за утверждение «неонтологического» стиля мышления, характеризующегося выдаванием желаемого за действительное, за догматизм и «вербализм» общественной науки. Но она же способствовала большей раскрепощенности мышления и подчас давала, причем в массовом масштабе,

те же эффекты, что и современные методы стимуляции творчества, такие, как брейнсторминг или синектика, основное назначение которых — освободить его от скованности логикой и реальностью.

Гипертрофированный коллективизм, отсутствие должной заботы о закреплении приоритета и лицензировании открытий ослабляли индивидуальную мотивацию, а подчас наносили ущерб самим же коллективным интересам. Например, вследствие того, что один из главных символов советского режима — автомат Калашникова — не был своевременно запатентован, не только его создатель (фамилия которого, согласно данным Института Гэллопа, является самой известной в мире русской фамилией) не заработал заслуженных миллионов, но и страна понесла большой ущерб. Однако тот же самый коллективизм создавал сильную коллективистскую мотивацию и не выглядел таким уж нелепым в науке XX века, справедливо характеризуемой как деятельность научных групп, а не ученых-одиночек.

Огромное количество не доведенных, не использованных научных идей, поражающее воображение зарубежных ученых и, особенно, предпринимателей⁶⁶, тоже было результатом не только неспособности нашего общества использовать новое научное знание, но и непрагматичного отношения самих отечественных ученых к своим идеям. Но одновременно отсутствие заботы о коммерциализации и практической реализации научного знания сделали возможной своеобразную «российскую нирвану» — психологический коррелят социально-экономического «застоя», проявившийся в неспешном образе жизни, свободной от каких-либо экономических принуждений, и соответствующем состоянии умов. Эта «нирвана» во многом способствовала научному творчеству, ведь, как показывают исследования, одна из его главных психологических предпосылок — *спокойствие и безопасность*, которые большинство ученых ценит выше, чем высокие гонорары или успешную карьеру⁶⁷. А история науки свидетельствует о том, что во время различных социальных встрясок, таких, как войны, революции, всевозможные «перестройки» и глобальные реформы, равно как и *после* них, наука, как правило, оказывается в неблагоприятных условиях, и продуктивность научного труда заметно снижается, причем все эти пертурбации на более *организованных* сферах интеллектуальной деятельности, таких, как наука, сказываются хуже, чем на менее организованных, таких, как, например, искусство⁶⁸.

«Созерцательность», центрация на глобальных смысложизненных проблемах, преобладание умозрительных способов их анализа сдерживали развитие экспериментальной науки, удаляли науку от практики, замедляли формирование профессии ученого. И эти же

свойства российского менталитета способствовали развитию гуманитарной науки, послужили основой ярких и самобытных систем научного знания.

Да и такая особенность этого менталитета, как повышенная революционность, оставившая кровавый след в нашей истории, совсем иначе проявила себя в науке, обозначившись здесь как склонность к **научным** революциям, стремление к самобытности и новизне. М.М.Пришвин однажды заметил, что из любой трудно разрешимой ситуации есть два выхода: либо бунт, либо творчество. В истории российской науки бунт (например, против картезианства) неизбежно превращался в творчество.

В результате наша страна обладала удивительно приличной наукой на фоне примитивной промышленности, неразвитого сельского хозяйства и т.д. А такие мыслители, как В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, перечислять которых можно очень долго, воплотили собой не только глубину научной мысли, но и ее особую культуру, **специфику российского мышления и российской науки**, и их идеи вряд ли могли родиться в какой-либо другой стране. Более современный пример — наши нынешние ученые-гуманитарии, эмигрирующие за рубеж, где, в оторванности от российской интеллектуальной почвы, их творческий потенциал быстро затухает⁶⁹.

И, наконец, особенности российской науки, предопределенные спецификой российского менталитета, сильно отличаясь от оснований западной науки Нового Времени, органично вписываются в методологию новой — «постнеклассической» — науки, для которой характерны легализация интуиции, ценностной нагруженности знания, такие установки, как холизм, энвайронментализм и др. И поэтому можно утверждать, что психологические особенности российской науки, тесно связанные с православием и выражающие специфику российского менталитета, во многом предвосхитили формирование **современной** методологии научного познания. Можно сформулировать и более ответственное утверждение — о том, что эта методология сформировалась не только вследствие разочарования общества в традиционной, позитивистски ориентированной, науке (и ее разочарования в самой себе), но и в результате произошедшей в XX веке **конвергенции** трех специфических видов науки — западной, восточной и российской, сближение которых пошло на пользу и каждой из них, и той Науке, которая не признает государственных границ.

Соотнесение основных психологических характеристик российской и западной науки позволяет сделать два принципиальных вывода.

Во-первых, макропсихологические основания научного мышления, связанные с психологическими особенностями различных культур и народов, не сводимы к его собственно когнитивным предпосылкам, а включают, как и все социальные установки, комплекс взаимопереплетенных когнитивных, социальных и эмоциональных компонентов, отливающийся в соответствующий тип личности, который и является главным связующим звеном между социокультурной средой и национальными особенностями науки.

Во-вторых, при всей своей интернациональности и универсальности основных способов познания наука всегда имеет социокультурную специфику, для каждой культуры существует своя оптимальная форма научного познания, а его универсальной формулы (которая традиционно отождествляется с западной наукой), подобно единой для всех народов формулы политического или экономического устройства, не существует.

Примечания

- ¹ Эти и другие подобные термины, как правило, употребляются как синонимы.
- ² De Castro Aguirre C. Esteriotipos de nacionalidad en un grupo latinoamericano // Revista de psicologia general aplicada. 1967. Vol. 34. P. 391–401.
- ³ Иногда, впрочем, предлагаются и более экзотические объяснения. Г.Горер и Г.Рикман, например, объяснили специфику российского национального характера традицией тугого пеленания младенцев, существующей в нашей стране. А Х.Дикс усмотрел основную особенность российского менталитета в доминировании *оральной* культуры, характеризующейся неумеренной склонностью к еде, питью и пению.
- ⁴ *Berdyayev N.* The Russian idea. Boston, 1962. P. 2.
- ⁵ *Gavin W.J., Blakeley T.J.* Russia and America: A philosophical comparison. Boston, 1976. P. 11.
- ⁶ *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 82.
- ⁷ *Белинский В.Г.* Россия до Петра Великого // Русская идея. М., 1992. С. 83.
- ⁸ *Струве П.Б.* Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 146.
- ⁹ *Милуков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 93.
- ¹⁰ *Хомяков А.С.* О старом и новом // Русская идея. С. 55.
- ¹¹ *Сикевич З.В.* Национальное самосознание русских. М., 1996.
- ¹² Российское сознание: психология, феноменология, культура. Самара, 1994.
- ¹³ *Шпет Г.Г.* Сочинения. М., 1989. С. 53.
- ¹⁴ Российское сознание: психология, феноменология, культура. С. 222.
- ¹⁵ *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция в России. С. 43–84.
- ¹⁶ *Милуков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России. С. 294–381.
- ¹⁷ *Кистяковский Б.А.* В защиту права // Вехи. Интеллигенция в России. С. 109–135.
- ¹⁸ *Струве П.Б.* Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России. С. 136–152.
- ¹⁹ *Berdyayev N.* The Russian idea. Boston, 1962. P. 6.
- ²⁰ *Касьянова К.А.* О русском национальном характере. М., 1994.
- ²¹ Российское сознание: психология, феноменология, культура. С. 23.
- ²² *Аксаков К. С.* Еще несколько слов о русском воззрении // Русская идея. С. 111.
- ²³ *Герцен А.И.* Prolegomena // Русская идея. С. 124.
- ²⁴ *Кареев Н.И.* О духе русской науки // Русская идея. С. 176.
- ²⁵ Там же. С. 182.
- ²⁶ *Ильин А.И.* О русской идее // Русская идея. С. 440.
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Там же. С. 442.
- ²⁹ Россия и Германия: опыт философского диалога. М., 1993. С. 56.
- ³⁰ Там же. С. 78.
- ³¹ Там же. С. 77.
- ³² *Кареев Н.И.* О духе русской науки // Русская идея. С. 171–186.
- ³³ Россия и Германия: опыт философского диалога.

- ³⁴ *Gavin W.J., Blakeley T.J.* Russia and America: A philosophical comparison. P. 16.
- ³⁵ *Неретина С.С.* Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск, 1995.
- ³⁶ *Ахиезер А.С.* Специфика российского общества, культуры, ментальности как теоретическая и практическая проблема // Обновление России: трудный поиск решений. М., 2001. С. 139-148.
- ³⁷ *Коваль Т.Б.* Православная этика труда // Мир России, 1994. Т. 2. С. 60.
- ³⁸ *Ильин И.А.* О русской идее // Русская идея. С. 442.
- ³⁹ Там же.
- ⁴⁰ Там же.
- ⁴¹ Там же.
- ⁴² Там же. С. 437.
- ⁴³ *Лотман Ю.М.* О двух моделях коммуникации в системе культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6.
- ⁴⁴ *Сикевич З.В.* Национальное самосознание русских. М., 1996. С. 164.
- ⁴⁵ Российское сознание: психология, феноменология, культура. Самара, 1994.
- ⁴⁶ *Gavin W.J., Blakeley T.J.* Russia and America: A philosophical comparison. P. 12.
- ⁴⁷ Там же. P. 101.
- ⁴⁸ Там же. P. 17.
- ⁴⁹ Россия и Германия: опыт философского диалога. С. 70.
- ⁵⁰ *Merton R.* The sociology of science: Theoretical and empirical investigation. Chicago, 1973.
- ⁵¹ Россия и Германия: опыт философского диалога. С. 57.
- ⁵² *Коваль Т.Б.* Православная этика труда // Мир России, 1994, Т. 2.
- ⁵³ *Gavin W.J., Blakeley T.J.* Russia and America: A philosophical comparison. P. 14.
- ⁵⁴ Ibid.
- ⁵⁵ *Maslow A.* The psychology of science. P. 131.
- ⁵⁶ Российское сознание: психология, феноменология, культура. Самара, 1994.
- ⁵⁷ *Ярошевский М.Г.* Наука о поведении: русский путь. М., 1996. С. 29.
- ⁵⁸ Там же.
- ⁵⁹ *Kubie L.* Some unsolved problems of scientific career // Identity and anxiety. 1960. P. 265.
- ⁶⁰ *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 439.
- ⁶¹ Там же. С. 434.
- ⁶² *Mirskaya E.Z.* Russian academic science today: Its societal standing and the situation within scientific community // Social studies of science. 1995. Vol. 25. P. 559.
- ⁶³ *Кареев Н.И.* О духе русской науки // Русская идея. С. 182.
- ⁶⁴ *Mirskaya E.Z.* Russian academic science today: Its societal standing and the situation within scientific community // Social studies of science. 1995, Vol. 25. P. 721.
- ⁶⁵ *Юдин Б.Г.* История советской науки как процесс вторичной институционализации // Философские исследования, 1993. N 3. С. 88.
- ⁶⁶ Один из последних заработал миллионы долларов, читая наш научно-популярный журнал «Техника молодежи» и коммерциализируя расплывчатые там идеи. The nature of creativity. Cambridge, 1988.
- ⁶⁷ Там же. P. 415.
- ⁶⁸ Там же. P. 415.
- ⁶⁹ Этот факт регулярно констатируют не только их бывшие сотрудники, но и зарубежные ученые, имеющие возможность сравнивать советский и зарубежный периоды творчества наших эмигрантов.